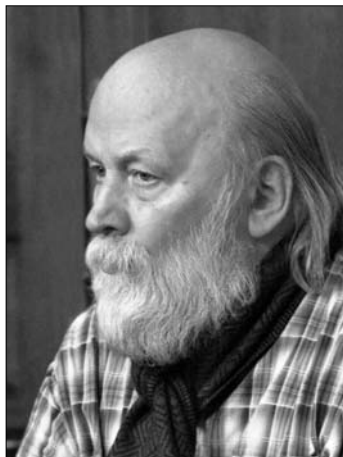


ЛЕОНИД БЕЖИН



ДВА РАССКАЗА

ДЖАН БАКУ

1

Снова затишье, оглушающее, почти неправдоподобное после сплошной канонады. Даже звенит в ушах, и во рту — привкус крови. Кажется, что слышно, как гложет виноградную лозу древесный червь и шмель басовито гудит в дупле старой чинары.

С вашей стороны работают только снайперы, зелёные, как саранча, в своей маскировке. И такие же прозорливые. Долго выжидают, высматривают цель и — стреляют. Не щадят даже ополоумевших бродячих собак. Но у них винтовки с глушителями, и поэтому выстрела почти не слышно — только слабый хлопок, похожий на свист плётки, рассекающей воздух.

После каждого такого хлопка на снятой с огородного чучела, старой бараньей шапке дяди Вартана, которую тот выставляет над окопом, появляется новая сквозная дырочка и белые шерстинки выются в воздухе, как комары. Шапка исчезла, но вскоре дядя Вартан снова выставит её на стволе автомата, чтобы подразнить снайпера, сукиного сына, змеёныша, бессильного достать его своим жалом.

На время дядя Вартан даже забыл о ненависти, так ему нравится эта забава. И он, пунцовый от пьянства, как мякоть чёрного винограда, с седой тигриной бородкой, смотрит на меня, ожидая, что и я оценю её, подмигну, прищокну языком, одобрительно кивну и благосклонно прикрою глаза.

БЕЖИН Леонид Евгеньевич родился в 1949 году в Москве. Окончил Институт стран Азии и Африки при МГУ и аспирантуру при нём. Прозаик, автор романов, повестей, рассказов. Лауреат нескольких литературных премий. В данное время является ректором Московского института журналистики и литературного творчества.

Хоть я моложе годами, но старше по званию, а дядя Вартан любит ласку своего начальства.

Но мне не до этого. У меня есть занятие куда более важное. Я мысленно пишу тебе письмо — туда, в стан врагов. Ты прячешься там в таком же глубоком окопе, нами вырытом и вами захваченном. Только зря вы считаете себя победителями: мы ещё повоюем. Только беженцев жалко, и ваших и наших стариков и старух с их узлами, чемоданами и детскими колясками, нагруженными домашним скарбом. Собрали всё, что успели, только дома у них теперь нет...

Это ты когда-то придумал писать друг другу мысленные письма, а затем при встрече зачитывать, стараясь не сбиться и ничего не упустить, не забыть. Не знаю, пишешь ли ты мне такое письмо или давно покончил с этими глупостями, но я пишу. Пишу, хотя обменяться письмами при встрече нам уже не удастся — встреча будет недоброй.

Слишком много всего накопилось, слишком тугой узелок завязался — не распутать, а лишь разрубить...

2

В нашем бакинском дворе, овальном, словно след от дыни, долго млевшей на горячем песке, и не таком уж большом, чтобы имена его обитателей повторялись, тем не менее было две Лейлы, два Самвела и целых три Вагифа. Это считалось уже избытком, перебором, поскольку создавало путаницу и подчас вызывало нелепые недоразумения — хоть смейся, хоть плачь.

Скажем, из соседнего двора к нам подсылали Рыжего Басмача — наголо бритого великана, дурня и уroda со зверским оскалом, вселявшим ужас из-за выдвинутой вперёд нижней челюсти, — бить Вагифа. А какого именно — уточнить не удосуживались или попросту забывали. И от зверских рож, а также пудовых кулаков страдал не тот Вагиф.

Страдал невинный и непорочный, тот же прятался за помойкой и затыкал уши, чтобы не слышать истошные вопли своего несчастного тёзки.

Словом, путаница, неразбериха...

Но когда я звал в окно: “Вагиф!” — то никакой путаницы не случалось и откликнулся именно ты, поскольку ни с Длинным Вагифом, ни с Коротышкой Вагифом мы не дружили. Да и какая могла быть дружба, если Длинный Вагиф, носивший турецкую феску, покрывал ногти лаком, словно коготка, и подкрашивал губы, а Коротышка Вагиф подавал шары в бильярдной, побирался на рынке и ел всякую дрянь, отчего пискляво икал, ходил с раздувшимся животом и его постоянно пучило.

Ты же для меня — и это все знали, — был Вагиф Джан, Душа Вагиф, милый, дорогой, любезный сердцу. Иными словами, друг.

Дружба при всей её стихийности подчиняется строгой закономерности теоремы Пифагора: она квадрат гипотенузы, равный сумме квадратов двух катетов. Такие мысли приходили мне в голову, когда мы валялись на широком, плоском, покрытом ковром турецком диване, среди твоих разбросанных в беспорядке, забрызганных фиолетовыми чернилами учебников, отщипывали виноград от вызревшей до золотистой патины грозди, и я натаскивал тебя по геометрии, которую ты особенно запустил (тебя даже хотели оставить на второй год и оставили бы, если бы не я).

И вот помню, как ты твердил эту теорему, ничего толком не понимая и лишь стараясь вызубрить её наизусть, а я, лежа на спине и глядя в белёный до синевы потолок, думал о том, что дружба — это гипотенуза, а катеты — это любовь и ненависть. И весь фокус Пифагора в том, что вместе они образуют неразделимое целое.

Иными словами, дружба невозможна без любви, к любви же всегда пришивается хотя бы частичка ненависти. Это было моё открытие, возносившее меня на один пьедестал с великим Пифагором (я даже представил, как украсил бы мой скромный мраморный бюст кабинет нашего директора Мустафы Альбертовича, тайно посещавшего мечеть потомка одного из двадцати шести бакинских комиссаров).

Конечно, я не мог (ведь у нас же всё поровну) не поделиться моим открытием с тобой. Я взял с тебя клятву молчать и выложил тебе всё. Я ждал, что ты в ответ умилишься и прослезिшься. Но ты меня выслушал, вежливо покивал, зевнул и ничего не понял — так же, как и в голололке Пифагора. Ты всегда мыслил конкретно и не любил отвлечённостей.

Между тем у меня был пример, подтверждающий мою правоту. Наша с тобой дружба началась с того, что мы друг друга возненавидели.

3

Возненавидели после того, как тетя Гюля, твоя мать, хворающая, с одышкой и больными, распухшими ногами, выпирающая из платьев, как тесто из кадушки, заподозрила мою матушку в том, что она вознамерилась увести её мужа Джамиля, статного красавца и румяного усача. Увести, окрутить и на себе женить, поскольку сама была брошенная и разведённая. Ради этого она якобы даже продала мой аккордеон, чтобы вырученные деньги отнести бабушке Захре, гадалке и колдунье со слезящимися глазами и пиратской серьгой в ухе, и упрямить её навести порчу на всю вашу семью (у тебя ещё были младшие сестры — мамзели, как ты их звал, и старший брат).

Это была чудовищная клевета. Аккордеон мать действительно продала, но деньги никому не носила, поскольку нам и так было не на что жить. Отец, уходя, нам ничего не оставил, кроме дырявых башмаков, сама же мать продавала газированную воду на бульваре (с сиропом — четыре копейки, без сиропа — копейка) и зарабатывала шестьдесят рублей в месяц. Ещё она вечерами мыла пузырьки в аптеке, и руки у неё покраснели и покрылись пятнами от ядовитых, разъедающих кожу смесей.

Покупая мне на последние сбережения трофейный немецкий аккордеон, мать рассчитывала, что не прогадает. Меня будут приглашать на свадьбы, именины, юбилеи и прочие празднества тех советских времён, и аккордеон вдесятеро окупится. Во всяком случае, она на это надеялась. Ей казалось, что с ним-то уж я смогу хорошо заработать. И у нас, наконец, заведутся денюжки на дне старой кондукторской сумки (мать когда-то продавала билеты в трамвае), предназначенной для того, чтобы откладывать, хотя откладывать было нечего, и сумка пылилась где-то за диваном.

Ради этого я нарочно садился у открытого окна и играл так пронзительно, истошно, громко, чтобы слышно было не только в нашем овальном, дынном дворе, но и на улице. И всё равно никто меня не приглашал, поскольку у нас уже был аккордеонист — одноглазый, в заношенном френче, купленном на толкучке, с серебряным портсигаром, выглядывавшим из нагрудного кармана, — дядя Валид по прозвищу Фараон.

Он играл хуже меня, и аккордеон у него был по сравнению с моим — дрянный и старёный. Его негнущиеся, корявые пальцы не выигрывали всех нот, и он стучал ногтями по клавишам, поскольку забронзовевшие, цвета старой зелёнки ногти никогда не стриг (никакие ножницы их не брали). К тому же басы у него шипели, а в верхах не хватало клавиш, поэтому некоторые ноты он отбивал ладонью по колёнке и при этом притопывал, чтобы ничего не пропадало (раз уж ему за всё заплачено).

И всё равно приглашали его, поскольку у нас считалось, что какая же свадьба без дяди Валида. С его репутацией мне было не поспорить, не совладать. Да и если бы паче чаяния пригласили меня, он своей властью Фараона сделал бы всё, чтобы уничтожить соперника. Размазал бы меня по стене, не позволил даже раскнопить ремешки моего аккордеона.

Для этого у него, Фараона, была армия и слуги — все, кто сидел за нардами, резался в очко или стучал в домино. Он их всех угощал папиросами из своего портсигара. Поэтому, желая ему услужить, они бы высмеяли, выругали, освистали меня и заулюлюкали вслед, стоило бы мне только показаться во дворе с моим трофейным красавцем.

И ещё обвинили бы меня в том, что я втайне сочувствую побеждённой Германии. А если бы Фараон даже мне и позволил разок принять приглашение,

то наложил бы свою лапу на мой заработок. И отнял бы почти всё, вывернув мне карманы и оставив лишь смятые рубли и жалкие копейки.

4

Словом, надежды моей матери не оправдались, и аккордеон стал не нужен. Я мог бы играть на нём для собственного развлечения, но счёл это детской забавой, недостойной мужчины (лишённый отца, я чувствовал себя мужчиной в доме). Да и стыдно было развлекать себя за такие деньги, вложенные матерью в аккордеон.

Правда, эти денежки всё равно ушлыли, и тогда я пожалел, что расстался с аккордеоном. Мы продали его вдвое дешевле, чем купили. Продали директору магазина — Самвелу из нашего двора, скупавшему всё ценное и ненужное: ковры, хрусталь, бронзу, нужное же себе иметь не позволял, чтобы просить (клянчить) у других, плакаться и жаловаться на нищую жизнь.

Вот и аккордеон был ему не нужен, поскольку в доме никто не умел на нём играть и никогда не стал бы учиться. Это как бы умаляло достоинства аккордеона, чем Самвел и воспользовался, чтобы бессовестно сбить цену. “Он же у вас подержанный”, — сказал он с кислым, словно кизил, и лишь немного присахаренным недоумением, хотя аккордеон выглядел, как новый, блестел чёрным лаком, отливал перламутром и звучал превосходно.

С горя мы попросили бабушку Захру нам погадать — в утешение и с надеждой на то, что, может, когда-нибудь нам выпадет счастье. Бабушка Захра закурила самокрутку, свёрнутую из газеты “Бакинский рабочий” (лучше всего раскуривались передовицы), надела круглые очки, разложила на столе засаленные карты и накрыла платком клетку с попугаем (чтоб не слезил и не подгадил). Попугай не подвёл, и она нагадала матери жениха, чем немало её рассмешила. Бабушка Захра её строго, ворчливо и недовольно одёрнула: “Карты не врут. Ты на себя-то посмотри — красавица. Будет тебе женишок. Жди”. И отвела руку матери с зажатым в кулаке рублём: “Заплатишь, когда сбудется”.

И сбылось. Карты матери отомстили: за её непочтительный смех они над ней тоже посмеялись. Когда статный усач и красавец Джамиль, муж тётки Гюли, подошёл к ней на бульваре, чтобы выпить газированной воды (с двойным сиропом), он спросил, бросая ей в тарелку звенящую мелочь:

— Как поживаешь, Каринэ? Муж из бегов не вернулся?

— Всё бегаёт. Хотя зачем мне теперь муж! Жду жениха. Мне жених обещан, — ответила мать с шутливым вызовом, наливая на дно стакана малиновый сироп и разбавляя шипящей струей газированной воды.

— Это кто ж тебе обещал?

— Карты. Бабушка Захра нагадала.

— Раз так, чего ждать. Лучше меня всё равно не найдёшь, — так же в шутку прихвастнул Джамиль.

— Да ты ж женатый... — Мать бросила на него быстрый, оценивающий, всё примечающий взгляд.

Джамиль сделал загадочно-упреждающий жест ладонью, как требовала шутка.

— А всем остальным-то хорошо? — Он показал в улыбке крепкие зубы (один был с золотой коронкой).

— Хорошо, да не про меня...

— А ты жди... — Он поставил стакан и вытер ладонью усы: шутка удалась.

Шутка была дошучена.

5

Вот отсюда и понеслось, что моя мать собиралась увести у тётки Гюли её мужа Джамिला. Разговор моей матери с Джамилём слышала нянька начальника буровой Якуба, гулявшая с его детьми на бульваре. Она была татарка, из Барнаула, и обладала удивительной способностью всё перевернуть

и переиначивать, искренне веря в то, что говорит чистую правду. Она и поведала тётё Гюле о бульварном разговоре, истолковав этот разговор по-своему и употребив для этого всю силу своей неукротимой, изощрённой фантазии. Тётя Гюля была поражена. Лицо её раскраснелось, пошло пятнами и от нервного зуда покрылось крапивницей с волдырями. Припадая на больную ногу и охая, она выбежала из дома. Вся заколыхалась, заклохотала, закудахотала, запричитала, повторяя: “Горе мне, горе! Пропала, я пропала! Ой, помогите!”

Её окружили; из всех окон разом высунулись головы. Стиравшие бельё молодые мамыши зачарованно выпрямились над корытами и стряхнули с рук пену. Чинившие матрас старики отложили молотки и вынули изо рта мелкие гвозди. Мальчишки, собиравшие вызревший тутовник, вытерли о майки красные от ягод руки и рядом уселись на нижний сук. Уселись, глаза сверху на цирковую потеху.

Кто-то из дворовых пацанов свистнул в два пальца, гикнул и крикнул: “Тётю Гюлю обшмонали!” — а там уж подхватили и понесло. Весь двор заглатывал и смаковал сладкую дынную мякоть будоражащих слухов. Весь двор возмущался, негодовал, осуждал мою мать, замолкая при её появлении, а затем всё больше распалаясь, осыпая её ругательствами и угрозами.

Мать, зажав ладонями уши, вбежала в комнату, закрывала на засов дверь и, прислонясь к ней спиной и затылком, так и стояла, словно неживая, не решалась пошевелиться. Я, забившись в угол, со страхом на неё смотрел. Мать тоже смотрела с ужасом, но не на меня, а на вещи, лихорадочно соображая, как быть, если ворвутся и начнут громить, что наскоро засовывать под диван, что выносить через чёрный ход, что прятать в подвале.

Наконец, она не выдержала, набралась решимости и вышла, так крепко держа меня за руку, что я весь извивался, дёргался и корчился от боли (откуда-то у матери взялась такая сила). Все снова замолкли, и только чей-то голос в гробовой тишине произнёс:

— Зачем вы, армяне, к нам приехали?..

Эту фразу я надолго запомнил. Раньше я таких фраз не слышал, да и не было в нашем дворе армян — точно так же, как не было азербайджанцев. Были все мы, живущие вместе, рядом, одной семьёй. И никто из нас ниоткуда не приезжал, а все здесь родились. Вместе — всем двором — справляли ноябрьские и майские (праздники), гуляли и веселились на свадьбах, поминали после похорон. Вместе танцевали под патефон и, когда показывали футбол, выносили во двор телевизор с самым большим экраном и линзой. Если подолгу не спадала жара и ночью было нестерпимо душно, спали во дворе на топчанах и раскладушках.

И вот теперь они появились — вместе со всем тем, что их разделяло. Разделяло на два лагеря, два враждебных стана, готовых двинуться друг на друга. И ты, прячась за тётю Гюлю, свою ревнивую и заполошную мать, смотрел на меня волчком, с ненавистью — как на врага. И я, твой враг, ощерившийся, затаивший злобу волчонок, отвечал тебе такой же ненавистью.

6

Скоро вас поднимут в атаку, и вы перебежками... пригибаясь к земле... прячась за бронетранспортёры, уцелевшие стены домов, наполовину сгоревшие, обугленные деревья... будете приближаться к нашему окопу. Сжимать нас в кольцо. Затягивать на шею верёвку, словно у щенков — тех, кого отловили, кому не спастись от живодёрни.

Ах, как бы тебе хотелось ворваться в наш окоп первым! И ты ворвёшься, поскольку всегда был ловок, гибок, как вьюн, увёртлив и проворен. И уж если с кем-нибудь сцепишься, то уж точно — повалишь, заломишь за спину руки и сядешь на него верхом.

Вот и меня ты наверняка прикончишь, ведь я всегда уступал тебе в смелости, ловкости и силе. Возможно, ты меня не узнаешь в моём камуфляже или постарайся сделать вид, будто не узнаешь. Я для тебя — как все.

Враг! Так тебе будет легче простить меня очередью или с размаху — разом — отсечь мне дурную башку сапёрной лопаткой.

Отсечь, насадить на штык и с гордостью победителя поднять над головой, потрясая ею в воздухе, гордясь и красуясь перед всеми. И при этом вся твоя орава будет в восторге, ты услышишь одобрительные возгласы, гул ликования. Вот ещё одна армянская собака подохла!

В бою вы жестоки и беспощадны, какими бывают заматерелые вояки и необстрелянные дохляки новобранцы. Эти — от бесстрашия, презрения к жизни и смерти, те — от страха и дрожи в коленях. И что самое грустное, так же жестоки и мы, и в состоянии окопного бешенства, страсти и восторга я бы мог поступить с тобой точно так же: отсечь и насадить. Вот до чего мы дошли, в кого мы превратились. Хотя чему удивляться, ведь на дворе девяносто первый год, война...

7

Вскоре недоразумение разрешилось, глупую няньку выругали и отчитали, все успокоились, и мы с тобой вспомнили, что живём в одном дворе, и снова подружился. При этом нам сначала было неловко и стыдно за нашу — пусть даже ненадолго вспыхнувшую (попыхнувшую, словно нефтяной факел) — вражду. Мы оба недоумевали, как могло случиться, что мы, словно по чьей-то злой воле, поддались ужасному наваждению. Нам хотелось смыть это постыдное пятно, друг перед другом оправдаться, но как?

Просто забыть и не вспоминать? Этого было мало, да и не получилось бы у нас — забыть. Чем больше бы мы старались, тем навязчивее нам всё напоминало, что мы именно стараемся, пыхтим, тужимся, и из этого ничего не выходит. Мы же стремились во что бы то ни стало избавиться от своего стыда, и из-за этого стремления наша дружба превратилась... в любовь.

Вот тогда-то я не мог провести и дня, чтобы не позвать тебя: “Вагиф!” — и ты, единственный из трёх Вагифов, безошибочно откликался на мой зов.

Началась чудесная, безоблачная пора нашей дружбы. Теперь нас сближал не двор, хранивший хмурую память о недавнем недоразумении, а весь наш дивный, сказочно прекрасный город, Джан Баку, как мы его называли, и, прежде всего, конечно, море.

Лиловое в утренней дымке, апельсинно-красное на закате, иссиня-чёрное ночью, когда нет луны и лишь светят — остро мерцают — звёзды, при лунном же свете — магниевое-фосфорическое, гелиотроповое, оно влекло и манило нас, очаровывало и завораживало.

Мы часами сидели на днище перевернутого баркаса, глядя вдаль. Мы были отличные пловцы и бесстрашные ныряльщики. С разбега мы поднырявали под накатывающую тяжёлую волну с пенными гребешками, чтобы вынырнуть уже тогда, когда она окажется за спиной. И тут же, набрав воздуха, ныряли под следующую...

Накупавшись до тошноты и озноба, грелись у костерка, разведённого из сухих колочек, и смотрели на белевшие — сиявшие белизной у причала — большие пароходы. На берегу у нас было четыре места (не хочу называть их пляжами): Шихово, Бузовны, Пиршаги, Мардакяны. Там мы валялись на песке до самого вечера, до мерцавших в темноте огоньков медуз — волшебного зрелища, которым мы не уставали любоваться.

И, конечно, мы обожали нашу шикарную набережную, где жарили каптаны и шашлыки, где суетился фотограф со своей треногой, гуляли нарядные дамы и веяло какой-то далёкой, неведомой, несбыточной жизнью.

Отблеском, отсветом, призраком этой жизни был блиставший вечерними огнями кинотеатр “Низами”, куда мы старались прошмыгнуть без билета, но нас чаще всего хватало за шкурку, выкручивали ухо и пинком вышибали на улицу. Но иногда удавалось и прошмыгнуть, и выпить на двоих кружку пива (если в кармане брэнчала мелочь). Удавалось даже отыскать свободное место — крайнее в заднем ряду: его никто не занимал, поскольку из-за колонны было плохо видно. Мы же ухитрялись увидеть всё и сидели на нём

по очереди, а когда уставали стоять, то и вместе, разом, на коленях друг у друга.

Но ещё больше любили мы цирк, где твой старший брат Джафар играл в оркестре на контрабасе, поэтому мы там были свои люди, всеми признанные, фартовые пацаны. Стоило тебе небрежно бросить билетёру: “Я брат Джафара” (ты к тому же был на него похож), — и нас почтительно пропустили. Мы замирали от восторга, смеялись и тайком вытирали слёзы, когда всадники показывали чудеса джигитовки, фокусник распиливал в ящике свою преданную и доверчивую ассистентку, не издававшую ни единого стона, косматый лев с раскатыстым рыком прыгал через огненное кольцо и клоуны дубасили друг друга по голове чугунными гирями. Мы же были счастливы, и от этого головокружительного счастья нам хотелось клятв и признаний.

Тогда я шептал тебе в ухо, что никогда тебя не предаю, и ты мне в ответ клялся, что, если будет война, ты будешь воевать за меня. Какая война, мы толком не знали, но нам смутно мерещилось что-то такое же, как в телевизоре или на экране кинотеатра “Низами”. Там вечно рублились, строчили из пулемёта, при гробовом молчании, без единого выстрела шли в психическую атаку (эта сцена сводила нас с ума). И твоя клятва означала, что ты будешь за меня даже в том случае, если я, по примеру Рыжего Басмача, подамся к белым, а ты — к красным.

Не сдержал ты клятву, Вагиф, как и я своё обещание. Всё в мире оказалось изменчивым, зыбким, непрочным. Только война нам не изменила, явилась, как призрак, и осталась с нами навсегда...

8

Но пока ещё никакой войны нет — нет ни Сумгаита, ни Степанакерта, ни призывных митингов, ни погромов, ни разбитых стёкол, ни выпотрошенных перин, а есть девочка по имени Софа, красавица с чёрными косами, гордячка и зазнайка. Она носит белую панаму, защищающую от солнца, и связанные бабушкой наколенники (берёжёт колени). У неё в кармане — зеркальце, а на правой руке — маленькие часики, хоть и детские, но настоящие, показывающие время (купленные явно не у нас, не в магазине Самвела, а откуда-то привезённые).

Софа Амбарцумян — мы оба в неё влюблены... Она жила в соседнем дворе, и мы её долго не замечали. Выходила во двор редко и только с няней, высохшей старухой, носившей шаровары и тюбетейку, и играла под своими окнами. Ближе к обеду окно открывалось, в нём мелькала чья-то тень, и её звали домой: “Софочка!” — и няня её тотчас уводила.

“Софочка, фюфочка, фиюфочка!” — передразнивали мы с ломанием и кривлянием, чтобы тотчас забыть и эту дразнилку, и ту, кому она была адресована. Вскоре Софа вообще перестала выходить во двор, поскольку ей неудачно удалили гланды и врачи боялись осложнений. Она сидела на балконе с перевязанным горлом и благостно, томно ела мороженое, которое ей покупали в больших количествах, поскольку так велели врачи. Она брала мороженое маленькой серебряной ложечкой, зачем-то дула на него, долго держала во рту и зачарованно проглатывала. При этом вытирала губы платочком с кружевной каймой, хотя алые следы от клубничного мороженого всё равно оставались у неё в уголках губ, на щеках и подбородке, что придавало ей выражение удивлённой беспомощности и подкупающей наивности.

Вот тогда-то мы её, наконец, заметили. Более того, мы смотрели на неё с восторгом и немым обожанием. И это обернулось катастрофой, поскольку ни я, ни ты не знали, как совместить море, набережную, кинотеатр “Низами”, нашу восторженную дружбу с внезапно охватившей нас любовью к этой противной девчонке. Девчонке с удалёнными гландами, перемазанной мороженым, нашей будущей насмешнице и повелительнице.

— Дай попробовать, — попросили мы, вставая на выброшенный кем-то стул со сломанной спинкой, чтобы дотянуться до её балкона (балкон был низкий, каменный, с большим выносом).

— Не дам. Это мне купили.

- Что тебе — жалко?
- Говорю, не дам. Не приставайте.
- Ну, хотя бы чуть-чуть. Не жидись.
- Уйдите, я сказала. Вы оба грязные.

Так закончилась наша первая попытка с ней познакомиться, и мы не только послушно стерпели насмешку, но, что было совсем уже глупо, бросились отмываться под дворничским шлангом, тереть колени, плечи, бока и спину, словно на них налипли тонны грязи. Она же, глядя на нас, покатывалась со смеху, откидываясь на спинку стула и закрывая рот пунцовой ладошкой.

Тогда ты не выдержал, обозлился, решил отомстить и сказал:

- А ты зато вовсе не Софа.
- Кто же я? — Она ещё не знала, какой ответ её ждет.
- Ты не Софа, а софа, и все на тебе будут лежать.

Как тут её перекосило! На секунду она застыла в немом изумлении, округлила свои прекрасные, чёрные, с гранатовым отливом глаза. А затем черты её исказились, рот скривился, нижнюю губу оттянуло, из глаз брызнули слёзы, и наша Софа (она же софа) с презрением выкрикнула:

— Дураки! Придурки! Дряни! Вы мне омерзительны! Я на вас пожалуюсь папе! Тогда узнаете!

— Что мы узнаем? — спросил я на всякий случай, хотя не очень-то испугался.

- Где раки зимуют — вот что!

9

Софа исполнила угрозу — пожаловалась отцу. После этого она стала смотреть на нас с мстительным торжеством и притворным сочувствием, как на приговорённых к самой страшной казни. Однако дни шли, а обещанная казнь не свершалась, что давало нам повод каждый раз с невинным любопытством спрашивать, проходя мимо её балкона:

— Ну, и что твой папа? Где же он? Папа! Папа! — Мы рупором складывали у рта ладони. — Испугался?

Это было дерзостью, на которую Софа, тем не менее, отвечала удовлетворённо, с приятной, многообещающей улыбкой:

— Ага, испугался, весь дрожит... Подождите, мальчики. Потерпите до выходного.

В воскресенье её отец велел нас привести. Софа сказала нам об этом с обречённым, жалостным вздохом, словно спасти нас уже ничто не могло:

— Велено вас привести. Только не забудьте вытереть ноги, мальчики: у нас дорогой паркет. Да и не мешало бы вам, мальчики, ботинки почистить. — Она намеренно отвернулась, чтобы не смотреть на наши пыльные ботинки.

Мы не решились послушаться, поскольку знали, что отец Софы — важный чин, носит фетровую шляпу, шьёт костюмы у дорогого портного, приглашает парикмахера на дом. К тому же его возят в автомобиле с кремовыми занавесками на окнах. Поэтому мы затянули потуже ремни (это казалось нам признаком респектабельности) и, сорвав лопух, покорно смахнули им вековую пыль с ботинок.

И вот Софа нас привела, словно арестованных под конвоем. В полутёмной прихожей тускло мерцало зеркало. Она велела нам причесаться, поступалась в кабинет отца и доложила с безучастным высокомерием:

— Они здесь.

А когда он вышел, добавила:

— Отругай их как следует и задай им по первое число.

Добавила так, словно первое число упоминалось в доме часто, привычно и по самым разным поводам.

— Сейчас, сейчас, — пообещал он, и нам стало ясно, кто в этой семье приказывает, а кто — выполняет приказы.

Отец Софы изучающе посмотрел на нас сверху вниз. Посмотрел и сделал кое-какие выводы. Затем он присел на корточки, поставил нас перед собой,

как болванчиков, поднёс к нашим носам большой кулак с белесыми волосинками на сгибах пальцев и спросил (для порядка):

— Чем пахнет?

Спросил и сам себе ответил (отстранённо возвестил куда-то в пространство):

— Смертью пахнет.

Помнишь, мы с тобой изрядно струхнули? Колени у нас ослабли, и ноги сделались ватными. По спине холодной струйкой пробежал пот. Сейчас это кажется смешным, но тогда от испуга мы чуть не наложили в штаны, уверенные, что это конец и нам придётся расстаться с жизнью. Но к нашему облегчению выяснилось, что он большой шутник, её драгоценный папа, к тому же любит ребячиться и показывать, что способен говорить с детьми на их языке. Вот он и решил нас немного попугать. Хотя на самом деле был добрый и тотчас же принялся мирить нас, уговаривать, чтобы мы не ссорились с дочерью, а были рыцарями и защищали её во дворе.

После этого усадил нас всех за стол, налил чаю, принёс коробку белорозовой пастилы, сдвоенное печенье с кремом посередине, какое не продавали в магазине, обсыпанный сахарной пудрой рахат-лукум и произнёс:

— Ну, набрасывайтесь. Сметайте.

Затем проводил в детскую комнату, чтобы мы там поиграли, только при этом не слишком шумели, потому что он работает. И тихонько закрыл за нами дверь.

10

Мы остались одни с Софой, нашей дамой сердца (если мы рыцари, то она — дама), и это показалось страшнее, чем любые кулаки, пахнущие смертью. Мы растерялись, смутились, не знали, что сказать, только отчаянно улыбались, словно без улыбки могли вообще провалиться в тартарары. Видя, что от нас толку не добиться, Софа сама взялась нами руководить.

— Ну, мальчики, во что будем играть? — спросила она так наигранно и зловеще, что стало ясно: чувство мести в ней ещё не удовлетворено. — Может быть, в тахту или софу? — Она посмотрела на нас невинно, но с неким затаённым умыслом. — Хотите?

И тут ты задал глупый вопрос, оказавшийся для нас же ловушкой:

— А как это?

— Что — как? Играть в софу? Очень просто. Неужели вы не знаете! Сейчас я вам покажу. — Она легла на ковёр, поправила на коленях юбку и вытянула ноги. — А теперь вы на меня ложитесь. Смелее, ведь я же софа. Вы меня так называли, помните? Вот у меня валики, вот — подушки, вот — ножки с колесиками, а внутри — пружины. Слышите, как они скрипят? Ну, кто первый?

Никто из нас не решился лечь на софу. Тогда ты предложил:

— Лучше будем играть не в софу, а в тахту. Пусть этот ковёр будет тахтой.

— Нет, мальчики, в тахту неинтересно. Вот в софу — это настоящая игра. Ну? Я вам велю лечь на софу. Я вам приказываю.

Мы молчали, мечтая лишь о том, чтобы поскорее сбежать и при этом не осрамиться, не опозориться окончательно.

— Что же вы? Не хотите? Ах вы, дряни! Придурки! Дураки! Уходите вон! Вон отсюда!

И мы опрометью, стуча ботинками по дорожному паркету, бросились вон. Из комнаты — коридор, из коридора — в полутёмную прихожую и из прихожей — за дверь.

На этом кончилась наша любовь, наше немое обожание и к нам вернулась прежняя дружба, чему мы, конечно, обрадовались, хотя при этом оба почувствовали, что нам стало скучнее дружить. Почему? Наверное, потому, что мы сбежали (а значит, всё-таки опозорились) и никто из нас не решился лечь на софу.

Хотя мы жили в Баку, моя истинная родина — место, где я появился на свет, — Нагорный Карабах (по-армянски — Арцах). А если точнее — село Завадых Мартунинского района, дом Сурена Григоряна, моего отца, который в жизни всё тщательно обдумывал, но при этом совершал безрассудные поступки (он умер вскоре после того, как от нас ушёл).

Я часто рассказывал тебе, что туда, в этот запущенный, полуразрушенный дом с прохудившейся крышей, затянутыми рыжей паутиной углами, репейником и чертополохом, проросшим между досками пола, он привёз мою мать незадолго до родов. Сам понимаешь, что никаких условий для того, чтобы рожать, там не было; повитуху — и ту днём с огнём не найдёшь после того, как умерла бабушка Нина, всем помогавшая при родах.

Ты меня не раз спрашивал: зачем отцу понадобилось совершить это долгое — восьмичасовое — путешествие по скверным дорогам, изрытым адскими ямами, хотя матери уже было трудно передвигаться, и она ждала начала схваток? Не знаю. Я об этом отца никогда не спрашивал, да он и вряд ли мне ответил бы, поскольку, молчаливый и даже суровый, не любил рассуждать на такие темы. Для него привычнее было разнести стаканы с чаем по купе, подсыпать угля в печурку, разбудить пассажира перед ночной остановкой поезда (отец работал проводником поезда “Баку — Москва”).

Но у меня есть одна догадка. Я её не то чтобы от тебя скрывал, но не было повода высказать. Поэтому сейчас высказываю — без всякого повода, хотя и с особым умыслом, который можно принять за повод.

Конечно, я мог бы сказать, что это — один из многих безрассудных поступков отца. Может, и так, но я бы ещё добавил, что отец за всю жизнь прочёл лишь одну книгу — Евангелие, оставленное кем-то в поезде. И у него перед глазами был пример — праведный Иосиф, совершивший вместе с беременной Марией долгое (трёхдневное) путешествие из Назарета в Вифлеем. Я не исключаю, что отец таил в душе робкую и стыдливую мечту — хотя бы чуть-чуть уподобиться праведному Иосифу.

Но ещё вероятнее всё же другое. Отцу хотелось, чтобы я появился на свет в краю, благословенном Богом, как земной рай, цветущем, благоухающем, отмеченном несказанной красотой и изобилием плодов земных, где, как говорят армяне, всего море. Да, армянское название моего села — Цоватех — так и переводится: “Место, где всего море”. Конечно, бездарные власти довели этот край до бедности, до крайней нищеты и дикости, и всё-таки море изобилия витало над ним, словно призрак, угадывалось во всём, что могло бы цвести и благоухать, если приложить к нему руки.

Я давно уговаривал, звал, приглашал тебя поехать туда вместе со мной и, наконец, уговорил. Когда нам исполнилось по пятнадцать лет, мы взяли билеты на междугородный автобус “Баку — Красный Базар”, прокопченный, запylённый, расшатанный тряской по ухабам и рытвинам.

По негласному, но неукоснительно соблюдаемому правилу водителями были армянин и азербайджанец, Армен и Султан, — я их хорошо знал. Их всегда бесплатно кормили в придорожной столовой, поскольку они приводили с собой толпу голодных пассажиров. Знал я также и кондуктора Маргушу, маленькую, как девочка, сухенькую, улыбчивую, писклявую, с тоненьким, дрожащим голоском.

Стояла чудесная весна, дрожала в воздухе голубая дымка, ветром носило белые лепестки, всё цело, изумительно пахло, дышало влагой местами дотаивавшего на горных склонах снега. И мы впадали в то восторженное умиление, которое охватывает всех, кому удаётся вырваться этой порой из города.

На Лачинском перевале ударило из-за облаков солнце. Неправдоподобно оранжевое, с лиловым обручем, оно ослепило, ожгло, расплылось сахарной патокой на оконном стекле, а затем снова обрело форму инопланетного диска и сузилось до слепящей точки. Распахнулись дали, вынесенные куда-то фантастической проекцией, как выносятся за окно отражение...

В доме пахло сыростью, плесенью, мышами, и надо было долго топить печь, чтобы, наконец, исчез этот запах. Ты немного заскучал, и, чтобы развлечь бакинского гостя, я пожарил на особой сковородке лук и приготовил лобио из красной фасоли, как готовят только здесь, у нас в Карабахе. Я накормил тебя, а затем повёл к дяде Самсону, балагуру и насмешнику, жившему по соседству.

Его не оказалось дома: как мне сказали, он охотился в горах. Но дядя Самсон держал ослика в стойле. Мы вывели ослика во двор, ты ловко взобрался к нему на спину, ухватился за гриву и стал кататься — сначала по двору, затем ослик вынес тебя на улицу, и я уже не мог вас догнать. Ты смеялся от удовольствия, что-то напевал, свистел, вытянув трубочкой губы, и я радовался за тебя как за лучшего друга, которому выпало счастье испытать, что это такое — кататься на ослике дяди Самсона.

Тогда ничего ещё не предвещало беды. Правда, в горах иногда слышались выстрелы, но это были охотники, а охотников мы не боялись...

12

Нас тут осталось трое — я и дядя Вартан, третий же не в счёт, поскольку это — Азраил, Ангел Смерти. Я здесь впервые его увидел, и меня это так поразило, что я долго тёр глаза, как бывает, если внезапно ударит в глаза и ослепит яркий, сияющий свет. Собственно, он невидим, этот Ангел, но иногда веки смегаются, и меж ресниц возникает мерцание, в котором угадывается зыбкий, двоящийся контур его головы, вьющихся золотистых волос, белых крыльев за спиной, узких ладоней и слегка удлинённых ступней.

И некоей частью сознания я понимаю, что передо мной Ангел, существо эфирное, сверхреальное, хотя другой частью вынужден удерживать предметы этой реальности — обожжённые деревья, развалины дома, слоистые облака над головой, — удерживать, чтобы не тронуться умом, не потерять рассудок, не лишиться здравого смысла.

И всё же это так странно! Азраил сидит на бруствере окопа, обняв колени, и ждёт, чтобы забрать мою душу. Дядя Вартан пьяница, озорник и безбожник — его душа, наверное, на небо не попадёт. Я же научился молиться и верить в бессмертие души после того, как началась эта бойня, стали калечить и уродовать тела, и мне отчаянно не хотелось смириться с тем, что вместе с телом можно уничтожить душу.

Ну вот, с вашей стороны что-то зашевелилось, над окопами показались зелёные каски, обтянутые сеткой, взревели моторы, и вся эта смертоносная лава поползла в нашу сторону. Глядя в бинокль и стараясь навести его на лица наступающих, я всех узнал. Узнал статного усача Джамиля, мужа тётки Гюли, узнал отца Софы, живущей в соседнем дворе, аккордеониста дядю Валида по прозвищу Фараон, директора школы Мустафу Альбертовича, великана Рыжего Басмача, Длинного Вагифа и Коротышку Вагифа, твоего старшего брата Джафара, игравшего на контрабасе, и тебя самого, моего друга, которого я звал Джан Вагифом, а вместе с тобой и весь Джан Баку...

Все вы перебежками... пригибаясь к земле... прячась за бронетранспортерами... приближаетесь, берёте в клещи наш окоп, не подозревая, что нас всего трое. Сейчас ты ворвёшься, чтобы с размаху отсечь мне голову. Нелзя, чтобы море изобилия принадлежало нам, здесь родившимся и пожелавшим, отделившись от вас, жить на особицу, своей свободной жизнью. Такое не прощают. За это полагается жестокая расплата. Поэтому я прерываю или, скорее всего, заканчиваю моё мысленное письмо.

Сейчас... сейчас... До встречи, дорогой Вагиф.

Дядю Вартана убило первым — осколком разорвавшейся мины, меня следующим — разорвавшейся вблизи связкой гранат. Остался лишь один защитник нашего окопа — ангел Азраил с его сверкающим, обоюдоострым мечом. Напрасно я сказал, что он не в счёт.

В счёт!

КОРОТКИЙ СПИСОК

(сцены из дачной жизни)

Об этом случае на дачах много говорили, особенно поначалу; потом он быстро забылся. Поначалу же у колодца с растрескавшимся воротом и зашпелым срубом, изнутри обросшим жёлтыми грибами, на волейбольной площадке, красной от кирпичной крошки, в пристанционном магазине, где покупали сахарный песок для варенья (больше там ничего не продавали), не проходило дня, чтобы кто-нибудь не вспомнил: “На сороковой-то даче... хозяин... недавно похоронили... совсем молодой”. “Не молодой, а пятьдесят-то было, да ещё с гаком, — возражал кто-нибудь в очереди. — И не на сороковой, а аккурат на сорок четвёртой”. “Да, да, на сорок четвёртой, — подтверждали другие. — Он ещё всем книжки свои дарил с надписью. Фамилия-то совсем простая — Сидоров, а учёный человек”.

Из-за книжек Евгения Фёдоровича Сидорова и знали соседи — и ближние, и дальние, жившие в заболоченной низинке за железнодорожным переездом. Очень уж он любил их дарить. Причём книжечки маленькие, иные — со спичечный коробок, и носил он их почему-то за обшлагом резинового сапога, хотя ему трудно было нагибаться (сердце стучало). Нагнётся, достанет из-за обшлага книжечку, выпрямится и скажет с напускным пренебрежением: “Ну, это так, ерунда, переводы... А вот скоро я подарю вам большую книгу, в тысячу страниц, настоящую”.

Но вот так и не подарил.

Был он коренастый, приземистый, с лицом цвета забродившей винной ягоды, ухоженной бородкой, которую любил по-всякому стричь и придавать ей разную форму — от профессорской, слегка заострённой книзу, до шкиперской, курчавившейся по скулам. Носил какую-то французскую капитанскую фуражку (где он её достал?), из-под которой выбивалась пышная, красивая седина.

Впрочем, всё это мелочи, и вряд ли они имеют теперь значение. Человека-то нет, а уж какая у него была шевелюра, какая бородка — всё это стало чёрточкой, прочерком между двумя датами на могильном камне.

I

Портниху Матильду Бубликову, востроносую и шепелявую (потеряла передний зуб) Сидоровы пригласили — это надо особо подчеркнуть — на дачу. Обычно ездили к ней на Соколиную гору, где она кроила и строчила в комнатухе под самой крышей, раскалённой от солнца. Или вызывали Матильду с её баулами к себе в Печатники.

А тут — на дачу, и не вызов, а приглашение: “Извольте... пожалуйста”. На это, конечно же, были причины: выпускной вечер у Насти и забрезжившая возможность попасть в Короткий список у Артура. Поэтому обим надо заручиться, что им сошьют вовремя. И не просто сошьют, а *сошьют*, чтобы это смотрелось, чтобы оборачивались, ахали, обсуждали, судачили.

Ну, и по мелочи — на лето — тоже никуда не денешься: надо... К тому же у них гостила дальняя родственница с Сахалина, Лариса Фоминична, амбициозная дама, с претензиями, да и многие родственники и знакомые наезжали на день-на два.

Словом, всем хочется, всем надо...

Дачный сезон у них начался немного раньше обычного — в конце мая, как раз, девственно млея, зацвела сирень и зашлась душистым дурманом черёмуха. За неделю они успели обжиться, перемыть все кастрюли, высушить на солнце подушки и матрасы. Несколько раз даже топили, чтобы хорошенько прогреть отсыревший за зиму дом. От печного тепла янтарная смола в трещинах сосновых брёвен оттаяла, стала подтекать, ожила и заблестела. С зеркала на террасе сошла последняя изморозь. Цветные ромбовые стеклышки в дверцах буфета заискрились и заиграли.

Словом, обосновались на всё лето, и совершать исход обратно в Москву — даже по такому важному поводу, как примерка, — никак не хотелось.

Вот Евгений Фёдорович (жена прозвала его Мой Месье) и позвонил Матильде. Ради этого вломился с мобильником в сырой, заглохший малинник (мобильник — малинник: он, переводивший трубадуров, любил, когда рифмы сами выскакивали), где лучше всего *соединялось* и *брало*. Забрался и по неуклюжести своей наступил ногой во что-то проржавевшее, наполненное талой водой и скверно пахнувшее, а потом долго не мог сбросить — струсить — с ноги эту гадость.

Струсить-то, наконец, струсил, но пришлось доставать из дивана сухие ботинки, переобуться и вторично звонить уже с террасы, там тоже брало, но только хуже. За спиной же стояла Альбертина Ивановна и, пользуясь тем, что зеркало отражало их обоих (у неё покраснело веко из-за какой-то инфекции, и выгоревшие на солнце волосы повело в лимонную желтизну), дирижировала разговором.

Скупыми жестами она, как опытный дирижёр, давала нужные указания, следя за тем, чтобы муж зря не любезничал и не увязал в излишних подробностях: “Скажи о главном. О главном не забудь”, — настойчиво и методично твердила она, учитывая, что Евгений Фёдорович одновременно слышит два голоса — её и Матильды, — и поэтому, скорее всего, не слышит ни одного.

Главное же заключалось в том, что Сидоровы приглашали Матильду не ради одной примерки, а с целью устроить ей отдых, оставить у себя на весь день, накормить обедом, налить ей стаканчик (из рюмки она не пила) и, главное, угостить *зефи-и-и-ром*, как заливался соловьём, произнося это слово, Евгений Фёдорович. Это была, разумеется, шутка, рассчитанная на то, что Матильда знала лишь один зефир — в шоколаде (могла за чаем съесть целую коробку). А они намеревались приобщить её к другому, ей неведомому (дни напролёт горбилась над швейной машинкой), поскольку воздух у них на даче — истинный зефир.

Вот пусть она этим *зефиром* и подышит, раскачиваясь в гамаке; погуляет по дачным просекам, сплетёт на голову венок из ромашек. Может быть, даже искупается, хотя сами они ещё не решались, лишь боязливо опускали термометр в речную воду. Термометр сохранился с тех времён, когда дочь Настю купали в ванночке, и до сих пор точно показывал: плюс восемнадцать-девятнадцать.

Всё-таки холодно, чего доброго, ангину схватишь.

II

С примеркой же успеется — куда она денется. Да и, признаться, надобности особой в ней не было, в примерке, поскольку Матильда шла для Сидоровых уже не первый год. Приноровилась, приспособилась. Мигом схватывала, кто раздобрел, раздался в поясище и плечах, а кому, наоборот, заузить талию. Сейчас особенно усердно обшивала Настю. Та вошла в возраст, когда нужны наряды. И Матильда старалась, вникала, чуть ли не обнюхивала её сверху донизу — знала каждый выступ, изгиб, впадинку на цыплячем тельце.

Настя была некрасивая (одно утешение, что при этом добрая, хотя утешение ли?), нескладная, длиннорукая, с неразвитыми бугорками на груди, словно у семилетней. И к тому же — вся в отца, чьи черты придавали ей что-то мужское и тем её особенно портили. Но Матильда умела там убавить, там прибавить, там открыть, там задрапировать и все недостатки фигуры сгладить, обратить в достоинства. Настя одевалась у нее, как краля с Крещатика (Матильда до Москвы жила на Украине), умела держать фасон, среди одноклассников считалась модницей и франтихой.

Правда, мальчиков у Насти всё равно не было, но, во всяком случае, она не выглядела кулемой со спущенным чулком, не вызывала к себе жалости и насмешливого презрения. Поэтому Сидоровы Матильду восхваляли, ублажали, на руках носили. При ней даже Украину не особо ругали, старались сдерживаться, отмалчиваться. Всегда платили Матильде вдвое больше, чем

она из скромности просила, и ко дню рождения делали подарки. Однажды даже подарили круиз по Волге.

На этот раз — помимо платья для выпускного — Альбертина Ивановна заказала для Насти ещё лёгкий сарафан и юбку на лето. С юбкой у неё был связан особый умысел, стратегический расчёт, среди родственников — дачного общества — не разглашаемый. Но Матильде она доверительно шепнула: “Голубушка, умоляю, — покороче”. Всё-таки дочери уже семнадцать — возраст, когда надо себя и показать, пусть даже с вызовом, с риском. Она уже предвидела, что консервативный лагерь, возглавляемый мужем, заартачится, даже ужаснётся, станет наверняка протестовать. Но она решила выдержать осаду. Её дачные протестанты ещё спасибо ей скажут, когда вдруг выяснится, что мальчигов не было-не было — и вот они есть, звонят по десять раз на дню, маячат под окнами и провожают до дома.

Отчасти из суеверия, чтобы не спугнуть в себе эту надежду, Альбертина Ивановна к семнадцатилетию надела Насте на палец серебряное кольцо с бирюзой и украсила запястье золотыми часиками, семейной реликвией, наследством умершей бабушки. Дочь обмерла, даже присела (коленки подогнулись) от восхищения. Долго красовалась с полученными дарами у зеркала. Озирая себя из-за выгнутого плеча. А Альбертина Ивановна, довольная, горделивая, на неё исподволь любовалась, за ней оценивающе следила.

Пусть носит: вещи старинные, авось, принесут ей счастье.

III

Матильде дали три дачных поезда, так чаще именовали теперь электрички, какими удобно ехать, поскольку они были дальними и шли почти без остановок. Забывчивую ротозейку Матильду попросили точно записать время и предупредили, чтобы на последний из перечисленных поездов она ни в коем случае не опаздывала: “Уж вы, пожалуйста, голубушка”.

Не опаздывала, поскольку затем — глухой перерыв (“Обрыв”, как у Гончарова?” — шутил Евгений Фёдорович). Придётся ждать, томиться и скучать больше часа. Таким образом, Матильде предоставлялась свобода выбора (у нас всюду теперь свобода), а с себя Сидоровы снимали пусть и не слишком обременительную, но всё-таки и не самую приятную обязанность — её встречать.

Альбертина Ивановна по опыту знала, что никого на этот подвиг Матросова (она успела побыть несколько лет в комсомоле) не вдохновишь. Каждый станет отказываться, отбодряваться, картинно изображать и расписывать, как он, видите ли, занят, бедняжка, хотя у всех одно занятие — валяться на диване, качаться в скрипучем гамаке и лежать в выцветшем от солнца, полосатом шезлонге.

При этом у Сидоровых было одно оправдание (хотя они не из тех, кто оправдывается). Матильда уже бывала у них на даче лет пять назад, когда шли строгий академический костюм для Евгения Фёдоровича: он защищал докторскую по Вольтеру. Бывала и дорогу наверняка запомнила. Поэтому авось не заблудится, хотя за пять лет тут многое изменилось, старые курятники снесли, а новые коровники (ха-ха) понастроили.

Ну, не коровники, конечно (это шутка), но какая разница, как называть: суть-то одна. Да и от коровников больше пользы, чем от навороченных особняков, опоясанных открытой верандой, с красными крышами (под черепицу) и окнами во всю стену. Во всяком случае, так считал Евгений Фёдорович, Альбертина Ивановна же от трёхэтажного коровника, пожалуй, и не отказалась бы, хотя вслух об этом не высказывалась. Благоразумно помалкивала, чтобы не раздражать и без того вечно раздражённого в последнее время, хмурого и вспылчивого, при всех его шутках-прибаутках, мужа. Ко всем цеплялся, всех стремился ухватить, как рак клешней. Своего же первенца Артура просто замучил колкостями и вечными издёвками над его творчеством, а заодно и над нынешними литературными поветриями и премияльным ажиотажем.

IV

Матильда всё-таки умудрилась либо опоздать на поезд, либо безнадёжно заблудиться уже здесь, среди старых и пугающе новых дач. Могла, конечно, и остановку проспять — с неё станется, готова спать на любом торчке. Впрочем, о причинах оставалось только гадать, налицо же была удручающая картина. Последний до перерыва дачный поезд давно отсвистал, покидая их станцию, а Матильда так и не появилась во всей своей красе, с рюкзаком и баулами — переносной пошивочный цех.

А тут ещё за лесом потемнело, стало погромыхивать. Яблони замерли в безветрии, и потянуло холодком. Совсем нехорошо. Всей дачей отправились её разыскивать. Выкликали, аукали, как в лесу, пока, наконец, не обнаружилось, что Матильда заплыла сомнамбулой на участок профессора Сухого, бывшего заведующего кафедрой, грозы соискателей, Зевса-громовержца, оппонента Евгения Фёдоровича (его гроза миновала), а ныне — дачного сидельца, собирателя грибов и ягод. И там её обласкали, приютили и даже стаканчик налили, отчего она раскраснелась, разомлела и поплыла — стала выступать за правду и даже пыталась по-украински запеть.

— Отыскалась, мерзавка! Наконец-то! Ну, слава Богу! — Евгений Фёдорович обладал способностью так добродушно улыбаться, что в его устах любые бранные слова не воспринимались как ругательства, а приобретали шутиливый, совсем необидный, даже ласковый оттенок.

Он первым углядел Матильду (при его появлении та сразу присмирела) и победоносным жестом руки оповестил об этом остальную компанию, отставшую от него на изрядное расстояние; отстали все, кроме жены.

— Ну, слава Богу! — с легкомысленной беспечностью повторила Альбертина Ивановна, придавая этим словам светский оттенок и освобождая их от клерикального налёта. — Голубушка, мы вас повсюду разыскиваем. Где вы запропастились? Забыли к нам дорогу?

— Тут всё так поменялось — я сдуру и сплеховала, — стала обидчиво и вызывающе оправдываться Матильда, тем самым склоняя Сидоровых к мысли, что виноваты всё же они.

“Водку пить ты не сплеховала”, — подумала Альбертина Ивановна, но не позволила себе сказать об этом вслух.

— Надо было вас встретить, конечно. Но уж всем у нас недосуг. — Альбертина Ивановна бросила косвенный упрёк любителям качаться в гамаке и валяться на диване. — А вас здесь, гляжу, хорошо принимают. — Независимо от этой реплики, таившей в себе замаскированный упрёк, она взглядом приветливо поздоровалась с хозяевами.

Те сидели за садовым столом под орешником — сидели вместе с Матильдой (начатую бутылку сразу убрали в траву) и вместе с ней почтительно встали при появлении гостей.

— А мне и невдомёк, что это к вам. “Где дача Сидоровых?” — спросила она. А у нас тут трое Сидоровых, — напевно запричитала хозяйка Марфа Даниловна и преданно посмотрела на мужа, словно в его присутствии ей легче было оправдываться.

Альбертина Ивановна любезно улыбнулась, скрывая раздражение: им указали на то, что они Сидоровы, и еще третьи по счёту в посёлке.

— Трое-то трое, а такие, как мы, — одни.

Она тронула мизинцем покрасневшее веко, как будто и оно свидетельствовало об их уникальности.

— Те-то, прочие, небось, доценты, а мы зато — профессора, — вмешалась Лариса Жемчужная, дальняя родственница, гостившая у Сидоровых и считавшая нужным им постоянно льстить — так, что было непонятно, льстит она или втайне издевается.

— Ну, хватит! — гневно полыхнул Евгений Фёдорович: у него вдруг испортилось настроение — испортилось настолько, что в устах дальней родственницы он бы предпочёл издевку лести. — Ещё не хватало титулами меряться. Наградами брэнчать. Перед наукой все равны, как перед Богом.

Это прозвучало настолько некстати, что всем стало неловко.

— Ты последнее время слишком суров. — Альбертина Ивановна досадливо тронула веко и вновь озаботилась тем, чтобы освободить высказывание мужа от клерикального налёта. — Всё-таки всем надо воздавать по заслугам. Награды просто так не даются. Кто у нас знает французов так, как ты. И я благодарна Дмитрию Дмитриевичу за то, что он, выступая на защите, твоих заслуг не скрывал и голосовал, конечно же, за тебя. — Было похоже, что, если бы перед ней сейчас оказалась наполненная до краев рюмка, она бы, не раздумывая, выпила за Дмитрия Дмитриевича.

— Ну, что вы, что вы! Мне теперь только грибы собирать. — Хозяин дачи заскромничал и смутился, покраснев, как девушка.

— Да лучше бы ты мне чёрный шар вкатил, — буркнул (бухнул) Евгений Фёдорович, — Ей-богу, брат, лучше бы! Провалился бы с треском, бросил всё к чертовой бабушке, стал бы брёвна пилить или мостить дороги!

— Знаем мы твои дороги, мостовик ты наш. — Альбертина Ивановна одной рукой обняла мужа, чтобы он не слишком разбушевался, а жестом другой (при поддержке взглядом, устремлённым поверх голов) умудрилась через стол задать немой вопрос Матильде, на который та торопливо ответила:

— Будет, будет примерка. Всё готово. Привезла. — Матильда попробовала на вес стоявшие рядом баулы. — Прощайте. Спасибо за угощение и не поминайте лихом, — с поклоном обратилась она к хозяевам, посчитав, что пора с ними попрощаться.

— А глаза мне не выцарапаете? — Дмитрий Дмитриевич улыбнулся половиной рта и счёл нужным объяснить прибывшим: — Я тут по неосторожности высказался об Украине — так в ответ мне чуть лицо не расцарапали.

Украиной он называл Украину.

— Простите, не сдержалась. — Матильда виновато опустила глаза.

— Ладно, ладно. Я не в обиде.

— У нас Украину... гм... Украину трогать нельзя — при таких защитниках. Так что вы рисковали. — Альбертина Ивановна искала ноту, на которой можно было бы расстаться с хозяевами.

— У нас только Россию можно, — добавил Евгений Фёдорович как бы от имени жены, хотя она с недоумением показывала, что никогда бы ничего подобного не сказала.

V

Поскольку Матильда растранижирила столько времени на даче у Сухих и так припозднилась, программу дня решили перекроить.

Перекроить и всё-таки начать не с обещанного ей отдыха, а с примерки, а там уж как сложится. Если не будет дождя (край неба затягивала лиловая хмарь, и вдалеке посверкивало), то можно успеть и с гамаком, и с венком из ромашек, и с прочими мильми глупостями.

Обедать же хорошо и в дождь, при открытых дверях, под клубящуюся изморось, теньканье капель по дну перевёрнутого ведёрка, под сполохи молний и глухое ворчание грома.

Таким образом, примерка прежде всего. Переносить её теперь нельзя, иначе после обеда все размякнут, раскиснут и будет совсем не то настроение. Поэтому Альбертина Ивановна, дабы Матильда слегка отдохнула с дороги, лишь провела её по участку. Показала (не без гордости) рядами посаженную смородину, красную и чёрную (намёк на один из любимых романов Ивана Францевича, своего отца), белёные яблони, клубничные гряды, где щепками и прутиками, воткнутыми в землю, были обозначены обещавшие скоро созреть ягоды. Показать-то показала, но — ещё не созрели, угощать нечем — пригласила её в дом, тем более что стало накрапывать. Пригласила с озорным намёком, лукавым предуведомлением, призванным заинтриговать: там, мол, кое-что припасено, есть чем угостить, попотчевать с дороги.

В доме она открыла дверцы с ромбовыми стёклашками, достала графин, налила стаканчик и протянула Матильде с видом праведницы, нарушающей священную заповедь не спаивать ближнего.

— Хлебни-ка, раз уж ты уже начала... там, у Сухих...

Матильда умилилась, расчувствовалась, чуть не всплакнула из благодарности.

— Ой, спасибо, спасибочки, хоть горло промочу... — зашепелявила она, прикрывая ладонью рот, и отважно выпила — разом опрокинула стаканчик, оставив по краям следы дешёвой помады. В это время сурово и осуждающе громыхнул гром. Матильда не на шутку перепугалась, вздрогнула, перекрестилась. — Ой, Илья-пророк на меня осерчал.

— Не говори глупостей. Испепелит тебя сейчас твой Илья-пророк. Превратит в обугленную картошку. Лучше скажи, как же это ты хотела Дмитрию Дмитриевичу глаза выцарапать?

— Ой, мама, да я сама не знаю. — В особые моменты, и только наедине, Матильда называла Альбертину Ивановну мамой, что было очень трогательно и не вызывало у неё протеста. — Он мне про Украину да про майдан всё бу-бу-бу. А мне до того обидно...

— Что ж тебе обидно?

— Да по его выходит, что все у нас там трёхнутые или, как он гутарит, майданутые. Вот я и не стерпела.

— Да вы и, правда, все там перебесились, дурыю маетесь. Ладно, ладно, не горячись... — Альбертина Ивановна слегка подула в сторону Матильды, словно бы остужая её горячую голову. — А Дмитрий Дмитриевич, чтоб ты знала, очень умный человек и необыкновенно добрый. — Альбертине Ивановне вспомнилось недавнее желание выпить за профессора Сухого, и она, снова наполнив стаканчик, чуть-чуть пригубила его. — Ведь, если честно, диссертация Евгения Фёдоровича была так себе, совсем слабая, плохонькая, и без Дмитрия Дмитриевича он бы никогда не защитился. Поэтому я сомневаюсь, чтобы Дмитрий Дмитриевич кого-то назвал тронутым или, как ты говоришь, трёхнутым.

— Да лопни мои глаза... Я сама слышала. — Матильда округлила глаза, словно помогая им лопнуть.

— Не кипятись. Снова ты!.. Если и назвал, то, значит, вложил в это свой смысл, твоему разумению недоступный.

— Что ж, я, по-вашему, дурочка?

— Не без этого. Только не сердись, но не без этого.

— Я и не сержусь. — Матильде хотелось ещё о чём-то поговорить, чтобы у неё был повод дойти то, что осталось в стаканчике. — А почему диссертация Евгения Фёдоровича плохонькая?

— Не хотелось ему писать. Душа не лежала. Он ведь выбрал эту тему под влиянием моего отца, любившего Францию больше всего на свете. Помню, расхаживал по кабинету, оттягивал на себе помочи, затем спускал, как тетиву лука, чтобы непременно был громкий хлопок, и повторял: “А ведь в отрезанной голове Жюльена Сореля, которую возила с собой Матильда, — весь Достоевский”.

— Матильда? Какая ещё Матильда?

— А ты мнила себя единственной Матильдой? Нет, моя милая, придётся смириться с тем, что у тебя были предшественницы.

— Я смиряюсь.

— Тогда слушай дальше. Евгений Фёдорович моего отца боготворил. К тому же перед смертью Иван Францевич дал ему для диссертации очень ценные материалы, чтоб они не пропали. И Евгению Фёдоровичу пришлось за всё это братья, писать, рассылать авторефераты, — словом, защищаться, хотя особой любви к Франции, Стендалю, Вольтеру у него не было. Я не знаю, что он вообще любил. Боюсь, что я тебя заговорила, — сказала она, заметив, что Матильда стала клевать носом.

— Нет, нет, я слушаю...

— Между прочим, отец назвал меня Альбертиной из-за любви к Прусту. — Альбертина Ивановна вспомнила, что Матильда может и не знать (даже наверняка не знает), кто такой Пруст, и добавила: — Писатель такой был во Франции. Впрочем, тебе неинтересно...

— Он уже умер? — спросила Матильда, показывая, что её кое-что всё же интересует.

— Умер, умер, — успокоила её Альбертина Ивановна так, словно её это интересовало меньше всего.

VI

Для примерки выбрали комнату Артура (там в это время дня было больше всего света), и его самого вежливо оттуда попросили: “Дружок, погуляй немного. Мы скоро. Много времени это не займёт”. Он не возражал с таким видом, словно заранее знал, что, если бы и возразил, его всё равно бы обступили, заговорили и выпроводили.

За окнами сначала заморосил, а затем полил дождь — слитно застучал по крышам. Стал наполняться старый, облупленный таз, поставленный под водосточную трубу, мелкими брызгами покрылись стёклышки в переплётах террасы, на кирпичных дорожках ожили, заплясали фонтанчики. Стало ясно, что погулять даже при всём желании не удастся, и Артур определил себе задачу (испытание) — заглянуть к отцу. Последнее время они если и разговаривали, то всё как-то не так, нехорошо, в разных тональностях, и он надеялся исправить это и избавиться от дурного осадка, оставшегося после неудачных разговоров.

Евгений Фёдорович встретил сына так, будто только его и поджидал, но поджидал не для того, чтобы что-то исправить, сгладить, смягчить, уравновесить. Нет, словно нарочно он стал тыкать в больное место и заговорил о самом неприятном для сына:

— А скажи, милый, что это ты вздумал романы писать? Или все сейчас пишут? — Он откинулся в разлапистом, завалившемся набок кресле с широкими подлокотниками, застеленном лосиной шкуркой.

— Ты уже спрашивал. — Артур опустил глаза, на скулах у него дрогнул узелок.

— Спрашивал, но ты мне толком не ответил. — Евгений Фёдорович старался говорить резонно, с убедительными, непроверяемыми доводами. — Ты же, прости меня, не писатель. У тебя другая специальность, ничуть не хуже. Ты — врач “скорой помощи”. Вот и ездил бы по вызовам...

— Я не девушка, чтобы ездить по вызовам, — отшутился сын со скучающим и безразличным видом.

— Ба! Что я слышу? — Евгений Фёдорович, наоборот, возликовал и возвеселился: очень уж его занимало высказывание сына. — Оказывается, ты не девушка. Поздравляю. Это достижение.

— А что я слышу? — Артур поднял глаза и посмотрел прямо на отца.

— Ты? Я полагаю, ты слышишь то, что я тебе говорю. Или я ошибаюсь?

— Ошибаешься. Я слышу, что ты снова хочешь меня оскорбить и унижить, как в детстве.

— За что же в детстве я тебя унижал?

— За то, что я считался маминим сыном, а не твоим.

— Вы с ней даже болели одинаковыми болезнями. Кстати, вон у тебя тоже покраснело веко.

Артур жестом Альбертины Ивановны тронул веко.

— Последнее время это повторяется постоянно.

— Что именно?

— Унижения и оскорбления.

— Возможно, но, боюсь, “Униженных и оскорблённых” тебе не содздать, — сказал Евгений Фёдорович и неожиданно как-то скривился, что-то промычал, закрыв лицо руками. — Прости, прости. Сам чувствую, что говорю не то, порю чепуховину, но остановиться не могу. Накипело, наверное.

— Что у тебя накипело? — с вкрадчивой любезностью осведомился Артур. — Давай разберёмся.

— Да хотя бы то, что в каждом твоём романе больше трупов, чем во всех драмах Шекспира.

— Меня сравнивают с Шекспиром? Уже хорошо. А насчёт трупов... Когда на твоих глазах умирают люди, когда ты слышишь стоны, хрипы, удушливый кашель, видишь кровь, гной, мокроту...

— Согласен, согласен. Как врач “скорой помощи” ты прав. И издательства тебя в этом поддерживают. Ты для них выгодная находка. — Он разгладил ладонями подлокотники кресла и посмотрел на ладони, словно после этого они приобрели некое новое свойство. — Но всё-таки позволю себе заметить, что задача литературы не совать нам под нос гной и мокроту, а описывать нашу жизнь и человеческие отношения... Или не так?

— Когда-то, может, было и так, а сейчас... не знаю... — Сын отвернулся.

— Знаешь. Всё ты прекрасно знаешь. И пользуешься моментом, пока не поздно.

— Каким же это? — не поворачиваясь, спросил он. — Любопытно...

— А таким, что все ослепли. Все забыли, перестали понимать, что такое литература, талант, призвание. Пушкин, Толстой, Тургенев, Чехов, Бунин, Горький, Шолохов — они где-то есть, но далеко, в густом тумане. Зато здесь, близко — мы. Наконец-то всё оказалось в наших руках — редакции, издательства, премии — всё. Как же этим не воспользоваться! Нельзя упускать свой шанс. Не упускать и не подпускать других и, прежде всего, одряхлевших, одиноких, голодающих стариков — тех самых, из бывших, которым тоже хочется. Хочется, а мы их не подпустим. А лучше всего съедим с потрохами, как молодые людоеды съедают тех, кто неспособен охотиться на бизонов и ловить крокодилов.

— Отец, мне кажется, ты снова впадаешь... Какие-то людоеды... Где ты их нашёл?

— Не буду, не буду. — Евгений Фёдорович вспомнил о намерении больше не пороть чепуху. — Но давай возьмём хотя бы премии, все эти короткие списки. Или для тебя это святое? Касаться нельзя?

— Почему же? Нет, давай возьмём... — со скучающим интересом согласился Артур.

VII

Евгений Фёдорович снова погладил ладонями подлокотники кресла, словно это доставляло ему такое же удовольствие, как и мысль, которую он собирался высказать.

— По-моему, если бы кто-то вознамерился уничтожить нашу литературу, то для этого не нашлось бы лучшего средства, чем премии. — Он откинулся на спинку кресла с таким облегчением, словно можно было ничего не добавлять к сказанному, но всё-таки добавил по лекторской привычке всё разъяснять до конца: — В этом смысле любая премия, извини меня, — проект, а проект — это вброс денег и технология, позволяющая добиться поставленной цели. Благородный старик Нобель ужаснулся бы, если б ему сказали, что такое будет возможно. Иными словами, премии подчиняются всем законам информационного общества или, если угодно, стада, каковым мы теперь являемся, да иначе и быть не может.

— Что-то слишком мудрёно, отец. — Артур любил называть мудрёными самые простые вещи, не столько недоступные, сколько противные его пониманию. — И какая цель у этого проекта?

— Я же сказал: уничтожить ту настоящую, подлинную литературу, которой мы так гордились. — Евгений Фёдорович смолк, но затем всё-таки поддался искушению продолжить: — И заменить её подделкой, китчем, суррогатом — называй, как тебе нравится.

— Забавно. Вообще-то принято считать, что премии способствуют развитию, подъёму, расцвету литературы.

— Да, так принято считать, и многие считают. Тем легче подsunуть под это определение совсем другую...

— А-а-а!! Не хочу! Не хочу! — вдруг визгливым, истошным голосом закричал кто-то внизу, возле террасы, закричал, разрыдался и закашлялся.

Евгений Фёдорович и Артур, переглянувшись, разом бросились к окну, но оттуда ничего не было видно, и они распахнули дверь на балкон.

— Что там случилось?

— Ничего, ничего. Это Настя. Юбка ей не понравилась. Истерику заката. Сейчас пройдёт, — ответили им снизу.

— Юбка не понравилась. — Евгений Фёдорович и Артур вернулись на прежние места в комнате. — Так о чём мы?

— О коротком списке, отец.

— Да, мой милый, сокращается... — Евгений Фёдорович не мог отвлечься от наплыва своих мыслей. — ...сокращается и без того короткий список прожитых дней. И за каждый из них придётся держать ответ перед Богом.

— Я в Бога не верю, — не слушая отца, сказал Артур.

— Ах, извини, — спохватился Евгений Фёдорович. — Ты же ещё молод, ждёшь короткого списка, а я пустился в рассуждения. Я искренне желаю тебе успеха. Если пришла твоя очередь, тебе, конечно, дадут.

— Значит, всё решает очередь?

— Очерёдность, — поправился Евгений Фёдорович. — Если уровень художественности у всех один — ниже среднего, уж ты прости, то всё решает принадлежность и очерёдность. — Он снова подошёл к окну. — Что она так раскричалась? Почему ей не понравилась юбка?

— Принадлежность к кому? — Артуру было досадно, что отец обращает такое внимание на Настю, а не на него, хотя его писательство и расчёты на премию гораздо важнее, чем какая-то юбка.

— Ну, к определённом клану, определённой группе или, как сейчас говорят, тусовке. Ты к ней принадлежишь, насколько я понимаю, вот и жди своей очереди.

— А если не принадлежу?

— Принадлежишь, иначе бы ты не названивал в жюри, не осведомлялся, не заводил эти бесконечные разговоры.

— Но я же волнуюсь, переживаю... Это естественно. На моём месте бы каждый... Ты тоже переживал перед защитой твоей докторской.

— Кто ж тебя упрекает! — воскликнул Евгений Фёдорович и поймал себя на мысли, что упрекает, прежде всего, он сам. — Ради премии надо хорошо поработать. Хорошо бы, к примеру, посидеть годик-другой в жюри. Затем можно дать скандальное интервью... Крым вспомнить...

— Ах, боже мой, да этих интервью я уже дал с десяток!

— Отлично! — воскликнул Евгений Фёдорович с озабоченным выражением лица, которое никак не соответствовало этому возгласу. — Что-то у меня лампа на столе не горит... — Он подёргал за шнурок выключателя.

— Зачем тебе лампа?

— Смотри, как потемнело из-за дождя. Сейчас снова польёт, и ещё сильнее. Это знак.

— Какой знак? От Ильи-пророка?

— А такой, что не видать тебе премии.

— Почему это?

— А потому, что по твоим писаниям должно чувствоваться: Россия — это дрянь, свалка, помой, никудышная страна без истории и без будущего.

— А разве у меня не чувствуется?

— Вот ты и попался! — рассмеялся Евгений Фёдорович после того, как, испытывая сына, выдержал недолгую паузу. — Ловко я тебя подловил? Для тебя, значит, Россия — помой?

— Ну, не совсем, конечно... — Артур смутился, вынужденный признать, что попал в подстроенную ему ловушку. — А ты у нас, значит, славянофил?

— Никогда об этом не думал.

— Как же, как же! "...Богом хранимая и берегаемая... берегаемая для какого-то неведомого будущего".

— Кого это ты цитируешь?

— Тебя.

— Неужели? — произнёс Евгений Фёдорович и вдруг просиял: — Свето-ка, лампа-то зажглась.

VIII

После ухода Артура Евгений Фёдорович, постукивая карандашом по столу, в отрешённой задумчивости произнёс: “Обжалованию не подлежит... не подлежит... обжалованию не...” Затем озадачился тем, какой смысл он вкладывает в эту фразу, и с удивлением обнаружил, что — никакого. “Никакого смысла... никакого смысла”. Хотел встать и тоже выйти, но в это время над головой так оглушительно — адски — треснуло, что он снова оторопело сел. Посмотрел, что у него в руке. Карандаш. Евгений Фёдорович сразу срифмовал: “Карандаш, карандаш — вот какой он, мальчик наш”. Громко рассмеялся, хотя повода для смеха не было. Спросил себя (глубокомысленный вопрос): “А я что бы ответил по короткому списку?” Засопел. Решил всё же встать и, опершись о подлокотники, тяжело приподнялся с кресла. Оказалось, что отсидел ногу. Неуверенно шагнул. Зашатался. И вот вам сюрприз: в дверях кабинета столкнулся с женой.

— Ты слышал, как она кричала? — спросила Альбертина Ивановна так, словно она не признала бы никакого ответа, кроме утвердительного.

С Евгения Фёдоровича мигом слетела его отрешённость.

— Настя-то? Ну, слышал, слышал. Из-за юбки?

Жена стала обстоятельно докладывать:

— Я просила Матильду сшить ей покороче, выше колен, но оказалось, что этого мало, что ей надо под самую задницу.

— Насте-то?

— Ну, что ты заладил одно и то же! Насте, Насте! Кому же ещё!

— Зачем? У неё не такие уж стройные ноги.

— Ты задал хороший вопрос. Я тебе на него отвечу — только держись за стену. Держись?

— Ну, допустим.

— Настя мечтает стать путаной. — Альбертина Ивановна изобразила на лице улыбку (улыбочку), всем своим видом показывая, что хорош был бы тот, кто ей не поверил бы или попытался обратить её слова во что-то иное.

— Проституткой? — спросил Евгений Фёдорович и невольно подумал, что не хватало бы ещё икнуть на этом слове, как актёру комедийного фильма.

Жена снисходительно пояснила (“Товарищ не понимает!”):

— У них в моде другое слово, более благозвучное, — путана.

— Что за дурь?

— Дурь или не дурь, а твоя дочь этим всерьёз озабочена.

— Мне такая дочь не нужна.

— Ну вот, начинается лирика.

— Мне такая дочь не нужна, — повторил Евгений Фёдорович с упрямством, показывающим, что он готов повторить это ещё и ещё раз.

— Ага, тебе не нужна, а я опять должна со всем этим разбираться. Спасибо. Удружил.

— Вызови её ко мне.

— Не вызову, потому что ты умеешь только браниться, а тут надо с умом и лаской. — Альбертина Ивановна вдруг вспомнила о том, что, по её мнению, неплохо было бы присовокупить к уже сказанному: — Между прочим...

— Что “между прочим”? — Он насторожился, зная, что жена умеет не придавать значения самым важным вещам.

— Между прочим, наша Лариса ей шепнула: “Милочка, приезжай ко мне. Я тебя возьму”. Оказывается, у неё там, на Сахалине, заведение.

— Ах, какая дрянь! И мы её принимаем! Гнать её к чёртовой матери!

— Пойди — прогони, а она наплетёт с три короба, что она не так сказала, её не так поняли, что её заведение — пансион благородных девиц.

— Да я с ней теперь за стол не сяду.

— Хорошо, мы будем приносить завтрак тебе в кабинет. Так и тебе, и нам будет только лучше.

— Ладно, зови Настю.

Евгений Фёдорович вдруг почувствовал, что устал, что ему всё равно и он не настаивает на своей просьбе. Именно поэтому жена её выполнила так, словно это была не просьба, а приказ.

IX

Настя поднялась к отцу, показывая, какая она послушная, примерного поведения. Встала в дверях с улыбочкой. Улыбочка — будто приклеенная, и — во весь рот, словно Настя подражала кому-то, умеющему изображать из себя клоуна. Кому-то из её класса (в каждом классе есть такие), кто ей явно нравился и казался героем, грозой молоденьких училок. Наверное, она даже жалела, что он сейчас её не видит, а то — в отличие от отца — оценил бы. Но — ничего, она ему потом расскажет, и они вместе посмеются.

— Ну, что там с юбкой? — спросил он хмуро и озабоченно, словно его вынуждала к этому необходимость (дочь к нему пожаловала для разговора), а не желание от неё что-то услышать и узнать.

— Мне не нравится. — Капризный ответ Насти был продолжением клоунады.

Теперь Евгению Фёдоровичу следовало набраться терпения и спросить:

— Почему?

— Очень короткая, а я хочу ниже колен. А ещё лучше — до щиколоток. Он попытался осторожно выяснить её намерения.

— Ты смеёшься?

— Плачу, — дрожащим голосом пролепетала она и для большего юмористического эффекта часто-часто заморгала.

— Отчего же ты плачешь? — спросил Евгений Фёдорович и сам же предложил ей ответ: — Родители у тебя такие глупые, тебя не понимают?

— Наоборот, очень умные, — отрапортовала Настя. — Какое же тут понимание? Глупые бы поняли.

— Вот как ты рассуждаешь... Где ты всего *этого*, — он выделил голосом слово, придавая ему известное значение, — набралась?

— А *это* у нас что? — Настя прикинулась незнающей, наивной, неосведомлённой.

— А *это* у нас *то*, — в тон ей ответил Евгений Фёдорович. — И не надо изображать, будто ты не знаешь.

— Ах, значит, *то*!

— То самое.

— А у нас все девочки мечтают: либо модель, либо путана. Чем я хуже?

Евгений Фёдорович попытался сдержаться в себе обличающий пафос и произнести как можно равнодушнее:

— Но ведь это гадость — собою торговать, продавать своё тело любому желающему.

— Почему? Сейчас всё продаётся, так почему бы не продавать тело? Тем более такое, как моё...

— А, по-твоему, какое оно у тебя?

— Цыплячье. За него много не дадут. Так, копейки...

Евгений Фёдорович хотел возразить, но не стал, посчитав, что Настя в общем-то права. Он зашёл с другой стороны.

— Ну, хорошо, допустим, что ты не красавица. Но ведь можно найти себя в чём-то ещё.

И вот тут-то его ожидал жестокий удар. Настя сказала тихим, вкрадчивым голосом, глядя ему прямо в глаза:

— И стать, как ты с твоей диссертацией... Уж лучше быть поваром и готовить десерты.

— Что ты несёшь!

— Все знают, что твоя диссертация провальная, что тебя за уши вытянули. Ты лишь жалкий эпигон Ивана Францевича.

— Замолчи! И не употребляй слов, значения которых ты не понимаешь.
— Не замолчу. Я давно это знала и ждала случая, чтобы всё тебе высказать. Я не папина дочка, и ты меня так больше не называй.
— Чья же ты тогда?
— Ничья.
— Прекрасно. Вот и уезжай на Сахалин с твоей Ларисой. Она тебя там пристроит, — произнёс Евгений Фёдорович, как произносят то, о чём потом жалеют.
— А может, я уеду на Украину с Матильдой и вступлю там в ряды.
— На какую Украину?
— На Украину.
— Тогда уж говори, что в Украину. Они так любят.
— Главное не то, что они любят, а то, что я люблю, — сказала Настя так, как будто у неё были все основания убедиться том, что, несмотря на желание, на все старания и потуги отца ей возразить, её слово окажется последним.

Х

Евгений Фёдорович никогда не чувствовал себя главой своего семейства. Не то чтобы он любил власть и мечтал о привилегии на всё взирать с высоты своего положения. Нет, власть сама по себе была ему чужда так же, как и слишком скрупулёзный анализ мелких фактов (терпеть не мог копаться в мелочах). Но речь шла о другом — о достоинстве, которым ему приходилось жертвовать и поступаться.

С ним не всегда считались. Он не мог утверждать, что к нему с уважением прислушиваются, его мнением дорожат, ценят даваемые им советы. Увы, не ценили, не дорожили и не прислушивались, даже подчас демонстративно затыкали уши, в чём особенно преуспела строптивая дочь Настя. Ладно бы он по слабоумию бормотал нечто невразумительное и невятное, говорил откровенные глупости, но, что самое обидное, пренебрегали им даже тогда, когда он высказывал умные и полезные вещи.

Евгений Фёдорович объяснял это тем, что они слишком долго жили не отдельно, не своим домом, а вместе с тестем Иваном Францевичем (между собой его звали Жан-Жак). Иван Францевич похоронил жену, бабушку Артура и Насти, и ему было одиноко в большой квартире на Ленинском проспекте (он обрел её, вернувшись из лагеря и получив назад все свои звания и награды). Вот он и переманил, зазвал к себе дочь с мужем и сыном (Настя тогда ещё не родилась). И они зажили вместе, чему Евгений Фёдорович, благоговевший перед тестем, остроумцем, скабресником, говоруном, учёным зубром, был только рад, тем более что сам он застольным говоруном не был, если и острил, то втихомолку, а уж скабресничать и вовсе не умел.

Но постепенно он стал чувствовать, что это благоговение не просто лишило его главенствующей роли в собственной семье (с этим он бы, в конце концов, смирился), но наносило урон его достоинству и репутации в глазах близких. Жан-Жак заслонял его своим могучим авторитетом так, что Евгения Фёдоровича было и не видать, настолько он умался и стушевывался.

С немалыми издержками для своего самолюбия приходилось признать, что Ивану Францевичу-то в семье все и подчинялось, хотя — надо отдать ему должное — по деликатности и особой (старорежимной) воспитанности он никому не навязывал своей воли и, упаси бог, не вмешивался в чужую жизнь. Наоборот, он всячески подчёркивал, что ему достаточно своего кабинета, книг до потолка и огромного немецкого письменного стола, кем-то откуда-то привезённого, и просил уволить его от всяких прочих дел: “Вы уж тут как-нибудь сами, без меня”.

Но стоило ему надолго устраниваться, не появляться перед всеми, перестать участвовать в их делах, выслушивать жалобы, исповеди и признания, как все чувствовали, что им его не хватает. Правдами и неправдами они проникали — просачивались — в кабинет Жан-Жака. Прежде всего, конечно, Альбертина Ивановна: “Папочка, ты к нам не выходишь, и я соскучилась”.

Но, кроме жены, и дети, вернее, старший из них, Артур, поскольку Настя родилась за три года до его смерти, но и то, едва научившись ходить, — сменяла шажочками к любимому деду. И ни одно решение без него не принималось. Одобрение Жан-Жака называлось у них санкцией (знали бы они, какое значение это слово приобретёт в дальнейшем!).

Он дал санкцию, — значит, можно.

Евгений Фёдорович, конечно, ревновал, но и он подчинялся влиянию Жан-Жака. Слушал его, раскрыв рот, когда тот своим скрипучим, повизгивающим голосом, морща покатый лоб, рассказывал о лагерном прошлом. По его словам, в бараке, где он жил, собралось изысканное общество академиков и профессоров, подлинный цвет науки, и они вдохновенно спорили, пророчествовали, — словом, устраивали платоновские пиры. “Как это ни парадоксально, там была наука. Вот бы и тебе посидеть, но сейчас уже, увы, не сажают. Не дёргают, как овощи с грядки”, — говорил он Евгению Фёдоровичу, и по этим словам чувствовалось, что тот в его мнении немного недобирает и как ученик, последователь, продолжатель числится в середнячках или даже отстающих.

Евгений Фёдорович и сам это чувствовал, из-за этого страдал и был несчастен. Его мучило противоречие: живя бок о бок с Жан-Жаком, он не мог и помыслить, чтобы заниматься чем-то иным, кроме Франции, и в то же время он страдал и был несчастен, сознавая, что Франция ему не даётся, ускользает от него, и ему делаются смешны собственные жалкие старания и потуги к ней приблизиться.

Он любил трубадуров, восхищался Вольтером, но, к примеру, продраться сквозь разросшийся, колючий кустарник Марсея Пруста не мог — на это его не хватало, а для Ивана Францевича Пруст-то и был критерием, мерилом оценки. Недаром он часто с одобрением повторял про кого-то из своих знакомых: “С ним можно поговорить о Прусте. Уж он не спутает доктора Котара и барона де Шарлю”. А Евгений Фёдорович путал — безбожно путал Альбертину с Жильбертой, семью Вердюренов с семейством Говожо. И поэтому с ним поговорить о Прусте было никак нельзя.

Даже жена внушала ему, когда он пытался в очередной раз объяснить ей в любви: “Знаю, знаю. Тебе всё во мне нравится, кроме моего имени. Но будь уверен, что я просто наречена Альбертиной и её грехов на мне нет. — И всё-таки лучше бы ты была хотя бы Матильдой. — Ага, я замечала твоё пристрастие. Матильду бы ты стерпел”.

С женой они всё сводили на шутки, но дети воспринимали его неудачи более чем серьёзно и даже болезненно. Сын Артур, сидя в кресле и вытянув худые ноги, демонстративно читал при нём Пруста и шумно восхищался им (хотя это не означало, что он усваивал его уроки). Всё-то ему хотелось укорить им отца; если же Евгения Фёдоровича не было дома, Артур и не прикасался к книгам и штудировал свою медицину.

Дочь Настя, чуткая к разговорам взрослых и стремившаяся показать себя ещё взрослее, стыдилась за отца — при нём краснела и опускала глаза. Евгений Фёдорович ничего не мог с этим поделать. И подлаживаться под дочь, заискивать перед ней и отворачиваться от неё было одинаково плохо. Нужен был другой язык, на котором он мог бы объяснить ей, что тоже кое-что значит, но на свою беду такого языка он не находил. Да особо и не искал, если признаться. Не искал, чтобы после всех обольщений и разочарований не испытать ещё одно, может, последнее, после которого обольщаться и разочаровываться будет уже не в чем.

XI

Кто-то робко постучался к Евгению Фёдоровичу — постучал так, что он мог и не услышать, погружённый в свои мысли. К тому же и дождь шумел, заливая пенистыми каскадами стёкла. Но он услышал: слух был чуткий. Услышал и посчитал, что это дочь вернулась, пожалел о сказанном. Приготовился к продолжению разговора, выслушиванию извинений и оправданий. Подождал немного: не откроют ли *оттуда* дверь. Нет, не открывали — только

по-прежнему робко постукивали, скреблись. Тогда он сам встал и настезь распахнул: “Пожалуйста. Извольте. Прошу”.

Перед ним стояла Матильда, зачем-то вытиравшая ноги о газетный лист, заляпанный побелкой и валявшийся здесь с прошлого лета, когда делали ремонт на втором этаже.

— Можно я нарушу ваше одиночество? — прошепелявила она с жеманной улыбкой, показывая дырку от зуба.

— Кто это тебя научил так сказать?

— Я слышала, что в таких случаях так говорят. А что — нельзя?

— Да можно. Валяй. А что за случай-то? Небось, опять со своей Украиной, то бишь Украиной?

— Почему вы её не любите?

— Да любим мы её. Очень любим. Она же нам мать родная... — Он криво усмехнулся, удивляясь тому, что Украину, как некогда Киевскую Русь, можно (“А ведь действительно можно!”) в известном смысле и с множественством оговорок назвать матерью.

— Неправда.

— Что неправда, милая?

— Не мать она вам.

— Ну, мачеха... — произнёс он с досадливым вздохом, словно ему менее всего хотелось разбираться, кто — мать, а кто — мачеха. — Мне сейчас дочь такого наговорила...

— Она сама, наверное, мучается... С такими девочками-тихонями так бывает: наговорят всякого, а потом сами страдают, — зачастила Матильда и той же скороговоркой, без всякой паузы (словно так ей было легче) выпалила: — Отпустите Настю со мной, пусть поживёт у меня немного.

— Куда это? — Евгений Фёдорович слегка опешил (оторопел).

— В Киев.

— Она же на Сахалин собиралась.

— Нет, я уговорила. Она теперь хочет в Киев.

— В Киев они хотят, — Евгений Фёдорович не удержался, чтобы не подстроить под желание Матильды и дочери свой нарочито исковерканный, вывернутый наизнанку выговор, — туда, где чуден *Днипр при тихой погоде*. Но погода там теперь, увы, не тихая, не такая, как при Николае Васильевиче, — вы учли?

— А ничего... как-нибудь...

— Или охота повоевать, вступить в ряды, так сказать? Москалям кулачишком погрозить, а то и кровь пустить?

— Не бабье это дело. Мы на бережку посидим, ноги в воде пополощем. Днепровская вода освежает.

Евгению Фёдоровичу вдруг надоели словесные пересуды, и он, понизив голос, снарядил Матильду на серьёзное дело:

— Знаешь-ка, принеси-ка там, в шкафчике...

— Вам же нельзя.

— Принеси, принеси... Иначе нам не разобраться.

— Ту, что в шкафчике, мы уже... того...

— Оприходовали, — подсказал он слово, которое она сама не нашла бы. — Тогда за зеркалом. Принеси.

Матильда спустилась вниз, пошарила за зеркалом и принесла. Разлили по стаканчикам из-под карандашей (другой посуды не было). Выпили. Почему-то об Украине говорить расхотелось.

— А что вы сейчас пишете?

— Что пишу-то? Большую книгу. Такую, что о-го-го! Вот только на семнадцатой главе что-то немного застрял.

— Книгу о ваших французах?

— Нет, моя милая. — Евгений Фёдорович вдруг почувствовал, что сейчас, при такой обстановке (дождь за окнами), в такой компании, после всего пережитого за этот день скажет то, чего никогда и никому не высказывал. Может, потом и пожалеет, но скажет. — Я уж тебе признаюсь, открою один секрет... Величайший парадокс моей жизни состоит в том, что я всю

жизнь писал о французах, но при этом любил всё русское. Вот дуралей-то! Любил до слёз и не решался об этом сказать. Ты спросишь, почему? Причины, знаешь ли, разные. Надо мной, как глыба, как замшелый валун, нависал Жан-Жак со всем своим громадным авторитетом, признанием, заслугами перед наукой. Жена всю жизнь наседала, мечтала пожить или хотя бы побывать во Франции. Да и вообще закрадывались мыслишки, что, чего доброго, не так поймут, неверно истолкуют, обвинят во всех смертных грехах. Знаешь, как у нас... течения, направления, лагеря, группировки. Поэтому я всё не решался, медлил, откладывал. А теперь чувствую, что откладывать больше нельзя, — пора, дорогуша. Пора! Тем более что и мыслишки кое-какие появились. Надо высказаться по большому счёту. Конечно, на меня набросятся: я, мол, не специалист. В чужой огород залез. Ударился в славянофильство. Сейчас он этак начнёт гвоздить направо и налево, всюду искать врагов и заговорщиков. А я просто люблю. Икона ли, церковная служба, “Свете тихий”, Киевская Лавра, заметь, роман Толстого, Чайковский, Левитан — люблю до слёз, до одышки, до сердечных перебоев. И мне так хорошо, когда я всё это вижу, слышу, с этим соприкасаюсь, живу...

Ещё налили по половинке стаканчика (Матильда отмеряла ногтем). Перед тем, как выпить, она с вороватой надеждой посмотрела на Евгения Фёдоровича и тихонько спросила — спросила так, словно всё сказанное им, вся его запальчивая исповедь была лишь подготовкой к ответу на её вопрос:

— Так вы Настю со мной отпустите?

— Что?.. Настю?.. — Евгений Фёдорович не сразу сообразил (взял в толк), о чём его спрашивают.

— Да, да, со мной в Киев. Пожить.

— Чего вам здесь-то не живётся?.. Отпущу...

— Вот спасибочки. Я русское тоже люблю. Вернее, любила когда-то. А сейчас вспомнила и вновь полюбила.

— А... вот оно как... вновь...

Евгений Фёдорович внезапно запнулся и не договорил — лишь попытался ослабить воротник рубашки и вдохнуть поглубже. Но поглубже не получалось. Он взялся за сердце, а другой рукой пошарил вокруг себя.

— Вам плохо? — спросила перепуганная Матильда.

— Лекарство... там...

Он стал дёргать ящик стола, но ящик не выдвигался из-за наваленных в него книг.

ХП

У Евгения Фёдоровича остановилось сердце.

Вбежавший по крику Матильды (она сразу протрезвела) Артур бережно уложил отца, померил пульс, рывком снял с него рубашку, стал делать искусственное дыхание, сердечный массаж — ничего не помогало. Матильда (когда-то окончила курсы медсестёр) стояла на подхвате, пыталась что-то подать, взять и дрожала как в лихорадке.

Вызвали “неотложку”, приехавшую быстро, за двадцать минут (вернее, за двадцать две минуты: Артур следил по часам). Но было уже поздно. Врачи молча вышли из дома. Их никто не провожал — все собрались в кабинете. Матильда первой стала всхлипывать, причитать и завывала. Такой у неё вышел отдых...